

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
С31

Художник — *Владимир Мачинский*

Сенчин, Роман Валерьевич.
С31 Петля [повесть, рассказы] / Роман Сенчин. —
Москва : Издательство АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2020. — 384 с. — (Актуальный роман).

ISBN 978-5-17-122137-9

«Тема этой книги — перемены. Подростковая, бунтарская тема, заново прельщающая людей в среднем возрасте. Добившись признания, статуса, семейного положения, окопавшись в доме и привычках, они чувствуют тягу к обнулению и перезапуску жизни. Реалист Сенчин ведёт рискованную игру. Он вторгается в границы чужого опыта с серьёзным намерением его прожить — да ещё в самых тёмных, недоступных и, в отличие от фейсбучных постов, нечитаемых местах» (*Валерия Пустовая*).

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-122137-9

© Сенчин Р.В.
© ООО «Издательство АСТ»

Моглось

Хочется написать: «такого Сенчина мы ещё не знали», — но это неправда: перед нами рывок писательского таланта к новой зрелости.

Тема этой книги — перемены. Подростковая, бунтарская тема, заново прельщающая людей в среднем возрасте, которые, именно добившись признания, статуса, семейного положения, окопавшись в доме и привычках, чувствуют тягу к обнулению и перезапуску жизни. Таков и сам Роман Сенчин в этой книге, и его герои, в которых нам хочется по инерции видеть альтер эго автора. Однако в этих рассказах мастерство Сенчина-реалиста достигает такой пристальности и зоркости, что помогает рассмотреть ключевой сюжет в опыте не просто чуждом — а принципиально закрытом от подглядывания.

Тот, кто годами ждал просвета в творчестве этого писателя, сможет найти здесь долгожданную альтернативность жизненных сценариев. Теперь его герои получают не только возможность — но и умение выбирать. Даже узнаваемое, фирменное сенчиновское «все мы будем спать» — уже не приговор, а образ такого общения, которому не нужны слова.

На место типологии пришёл тонко настроенный психологизм: автор внимательно уточняет причины реплик и реакций героев, показывая, как мелкая моторика души рассинхронизируется с программными установками разума.

Мазохистское самокопание обратилось в желание по-настоящему услышать себя. «Хотелось» — в этом слове раньше был лишь вялый вздох сожаления, теперь же в нём — порыв что-то сделать, и героям Сенчина правда удаётся если не добиться желаемого, то по крайней мере покончить с тем, что стало невмоготу.

Но перемены здесь — не возрастной фетиш, а концепт, всесторонне исследованный в художественной лаборатории. Реалист Сенчин ведёт рискованную игру. Начиная как один из ведущих авторов исповедальной прозы и опять расписавшийся в преданности литературе «честной и искренней», он помещает свидетельство в токсичный контекст, по действию сравнимый с постмодернистской иронией.

Новая искренность Сенчина изливается из столь разных источников, а новая честность приводит к таким противоречивым выводам, что исповедь превращается в эксперимент. Это правда, помноженная на контекст.

В каждом рассказе открываются по три и больше контекста, среды восприятия: некоторые проговорены прямо и безыскусно, об иных приходится делать выводы, а какие-то введены цитатами — причём факты истории, культуры и фактография чужой жизни цитируются на равных основаниях.

При этом соседствующие рассказы и сами играют значениями друг друга: вроде бы твёрдо усвоенный нами опыт перемен опровергается в следующем тексте с зеркальным, едва ли не пародийно похожим сюжетом.

И более того: в книге есть рассказы, реалии которых исключают исповедь или тормозят её. Самый опасный

трюк исполняет автор, вживаясь в своего коллегу и современника, — не названного, но легко узнаваемого по цитируемым постам из «Фейсбука» журналиста и писателя Аркадия Бабченко. Вывести в прозе известную фигуру, особенно в сатирическом духе, — приём распространённый. Но Сенчин вторгается в границы чужого опыта с серьёзным намерением его прожить — да ещё в самых тёмных, недоступных и, в отличие от фейсбучных постов, нечитаемых местах: он реконструирует подвиги в идейных мотивах, подробно быта политического эмигранта и, наконец, скандальную инсценировку покушения. А всё для того, чтобы постичь ценность перемен и в таком масштабе: ввиду реального риска утраты и родины, и верности себе, и жизни.

И даже в тех рассказах, где Сенчин с полным правом свидетельствует о своих мотивах и личной жизни, он рискует куда больше, чем раньше: это исповедь «в реальном времени» — как пишет он о новом счастье, особенно цепком к настоящему ввиду такого же, в реальном времени, страха, что там, за гранью «здесь и сейчас», всё опять переменится и рассыплется.

Никогда ещё в героях Сенчина, не исключая образ его самого, я с такой охотой не узнавала себя. Диалогичность, многослойность, тонкий слух к нюансам и оговоркам, наконец, полный смысловой оборот, который совершает здесь концепт «перемен»: от другой семьи до предощущения смерти, — эти особенности его прозы располагают и читателя к отзывчивости и открытости. И хотя новый Сенчин не раз обманывает наше доверие, за это чувствуешь только благодарность. Ведь книга с такой убедительностью показывает, как тягостно жить, уставившись в одну точку зрения.

Валерия Пустовая

Немужик

1

Аркадий боялся родного города — сразу всё вспоминалось. Он был особенным ребёнком, и его часто били, теперь он стал особенным человеком, и его уважали. Уважали во многих городах России и мира. Были те, кто гордился им в родном городе, но, как только Аркадий попадал сюда или хотя бы представлял, что попал, сразу начинало потряхивать от воспоминаний. Нехороших.

А город к себе тянул. Тянул так сильно, что приходилось срываться и ехать.

Он находился на Урале. Принято уточнять — на Среднем Урале. Считался старинным, хотя от старины — восемнадцатого-девятнадцатого столетий — сохранился лишь пятачок на берегу запруженной речки Капухи. Заводское управление, склады, сам завод из багрового кирпича — всё это теперь превращено в музейный комплекс. В основном же были дома сороковых и пятидесятих годов. Огромные, облицованные керамическими плитами, с лепниной, статуями на крышах.

Многие статуи разрушились, и торчали лишь ноги с частью туловища, и это пугало ещё в детстве, рождало в воображении жуткие истории про окаменевших людей. Эти люди хотели жить вечно, забрались на крыши, чтоб ближе к небу, стали каменными, но дождь, мороз, ветер оказались сильнее камня...

Улицы непомерно широки для размеров города. Не улицы, а настоящие проспекты. Правда, короткие. В центре площадь с памятником Ленину, от которой расходятся в четыре стороны света четыре проспекта. Проходишь по любому из них буквально пятьсот — семьсот метров, и вот вместо красивых домов — гаражи, ангары, ремонт машин... Проспекты превращаются в трассы, по обочинам которых — тайга или болота.

При Петре Первом на месте будущего города поставили медеплавильный завод, Капуху перекрыли плотинами; вокруг завода, конечно, настроили жилищ для рабочих.

В те времена подобных заводов по Уралу были чуть ли не сотни: железоделательные, чугунолитейные, медеплавильные, металлургические. Появился даже термин «горнозаводская цивилизация»; писатель Иванов написал о ней книгу-путеводитель.

Многие заводы зачахли ещё в позапрошлом веке, исчезли, теперь вместо них лишь горки битого кирпича да изржавевшее до полной непригодности железо; но несколько заводов стали городами. В том числе и их.

Медеплавильный завод был закрыт при Николае Втором, зато в окрестностях перед самой войной выросли два других, огромных — металлургический и машиностроительный. А после войны принялись за перестройку города. Появились проспекты,

необъятная площадь, дворцы с колоннами и статуями на крышах.

Город должен был стать одним из воплощений советского рая, но к концу восьмидесятых этот недоовоплощённый рай стал ветшать. Заводы работали вполсилы, здания потихоньку разрушались, магазины пустели, люди уезжали... Аркадий родился в восьмьдесят первом, застал самый краешек расцвета. А потом наступил вечный сумрак.

Всё было пропитано памятью о героических стройках: заводы, железная дорога, театр, Дворец пионеров, Дворец металлургов. Разговоры велись о выполнении и перевыполнении плана не только на собраниях, но и на свадьбах, днях рождения... Пацаны с детского сада мечтали стать похожими на отцов. Даже их, отцов, болезни, заработанные в горячих цехах, воспринимались как признак героизма.

Аркадий выделялся — о заводах не мечтал, по стопам отца идти не хотел. Да и отца не знал. Может, потому и вырос таким...

Правда, у старшего брата Юрки отца тоже не было, вернее, тот никогда его не видел, но Юрка не выделялся. Ни характером, ни внешностью, ни поведением. Крупный, каменно-плотный, задиристый, а когда требовалось — послушный и терпеливый. А Аркадий, непоседливый на уроках, мог долго смотреть на пруд, на всегда зелёные из-за сосен гривы за ним, на облака; читал книгу за книгой, не отличая в то время хорошую от плохой, скучную от увлекательной.

— Ты учебники давай открывай, — сколько раз требовала мама. — Опять вон химию запустил, физику. Скажу библиотекарям, чтоб не выдавали. Мозги только засорять...

Мама тоже работала на заводе — плела и плела на своём станочке металлосетку для воздушных фильтров; продавщиц и прочих из сферы обслуживания не уважала.

Точные науки Аркадию давались плохо, да он и не особо стремился их постигать. На уроках труда был вялый и равнодушный. С неохотой участвовал на физкультуре в командных играх, зато с удовольствием бегал, прыгал, подтягивался, отжимался. Хотя крепким не становился — скорее, гибким.

В их городе жили съехавшиеся из разных мест огромного Союза. Были и блондины, и смуглые, рыжие, монголистые. Многие переженились, и их дети часто имели очень странную внешность. Но всех объединяло нечто такое, что сразу указывало: это уральцы. У Аркадия этого «нечто» не было. Пацаны, да и девчонки — девчонки, кстати, особенно — с детского сада воспринимали его как чужака. Презрение девчонок ранило сильнее пацанских тычков и подножек.

Мама не защищала и не жалела — ласковость была ей не свойственна, — но иногда смотрела на Аркадия с такой какой-то грустью, не печальной, а светлой, что ли, доброй, что у него становилось горячо под горлом и хотелось заплакать. Она словно бы видела в Аркадии следы чего-то хорошего и безвозвратно потерянного.

Как-то раз, когда он прибежал из школы заплаканный и бросился к ней, прижался, потрепала по голове и сказала:

— В честь Гайдара тебя назвала... Фильм был такой, когда он ещё красный командир, за бандитами гоняется. Его Ростоцкий играл, мы все в него тогда влюблялись... А ты вот Аркадий, но не Гайдар совсем... Не Гайдар.

Юрка, брат, относился почти так же, как и пацаны. Разве что, когда травля готова была перерасти в избиение, останавливал особо жестоких:

— Хорош, хватит ему. Ещё из окошка прыгнет. Он у нас ранимый.

Дома они почти не разговаривали, общих увлечений и дел не было.

Впрочем, Аркадий ничем особо не увлекался. Если бы хорошо рисовал, пел, танцевал, любил бы шутить, балагурить, его наверняка бы не воспринимали чужаком, не выпихивали прочь. Но он не удивлялся, никак не пытался войти в мир тех людей, среди которых родился и рос.

Он любил читать, много смотрел телевизор, учился средне, держался в стороне от групп сверстников, и эти группы, устав от вражды друг с другом, то и дело нападали на него, иногда объединяясь. Часто словесно, а иногда — с кулаками.

Изучая себя как бы посторонними глазами, стараясь быть объективным, Аркадий приходил к выводу, что он не урод. Невысокий, но с тонкой костью, стройный, волосы почти чёрные, глаза тёмные, выразительные — не какие-нибудь там щёлочки или прозрачные кружочки, как у многих; нос, правда, крупноватый, зато с тонкой переносицей, губы пухлые, яркие. Парни и мужчины с подобной внешностью часто появляются в иностранных фильмах, и там они — герои, в них влюбляются, а здесь он достаивается в лучшем случае как-то с сожалением произносимого слова «смазливенький». Вроде — бракованный...

Юрка, окончив девять классов, поступил в училище, а после него ушёл в армию. Попал в ВДВ. По комплекции подходил, да и по характеру тоже — эта-

кий солдат от природы. Слал домой короткие, зато радостные письма, жалел, что война в Чечне кончилась, — призвали его в декабре девяносто шестого, а то бы «показал этим шавкам, как на Россию наезжать».

Мама читала его письма вслух и Аркадию, и соседям, и наедине себе самой. Гордилась. Но всё-таки переживала. И младшего решила учить до полного среднего, а потом — в какой-нибудь институт.

Призывного возраста ожидал со страхом, его начинало мутить, когда думал об армии. Конечно, пугала дедовщина, о которой слышал с детства, но по-настоящему ужасало это существование в казарме, где нет своего личного места, где всё время на виду, даже в туалете.

— Ремень на шею — и в позу орла, — смеялся Юрка. — Как птицы на проводах.

У них с братом была одна комната на двоих, и лет в двенадцать Аркадий при помощи шкафа — небольшого и лёгкого — выгородил себе отдельный уголок с кроватью и столиком. Мама сначала была против: «Темнота ведь тут, нора мышиная», — а потом махнула рукой. Брат тоже вскоре привык, да и дома бывал редко: кружки, улица, компания...

В выпускном классе Аркадий словно очнулся от того тревожно-сонного состояния, в каком жил. И экзамены сдал отлично, хотя специально не готовился — просто всё то нужное, что услышал на уроках, вычитал в учебниках и книгах, увидел по телевизору, вспомнилось, превратилось в некие кристаллики знаний и выплёскивалось в ответах учителям.

Аттестат получил вполне приличный для попытки поступления в вуз.

— Поступай, поступай, — говорила мама, — что тебе ещё делать такому. В армии задавят как пить дать. К тому же опять война вон...

В их городе были два филиала известных в стране университетов, но учили там на технических специалистов — чтоб выпускники пополняли кадры местных заводов. И Аркадий отправился в областной центр.

Запомнил в момент прощания на вокзале взгляд брата, к тому времени уже два с лишним года как женатого, работавшего машинистом завалочной машины. Юрка вслух не осуждал его, но глаза говорили: ошибку ты совершаешь, чумача, непоправимую ошибку, откальываешься окончательно. Аркадий отворачивался, будто провинившийся щенок...

До того в областном центре бывал два раза. Первый — лет в десять: мама получила какую-то премию или, может, денежный подарок на день рождения и решила показать сыновьям столицу их края.

Аркадию казалось, что едут очень долго, хотя путь на самом деле занял чуть больше четырёх часов. Но он не привык к поездкам и изъёرزался, замутил маму вопросом: «Скоро?» За окном поезда было скучно: лес, лес, лес... Потом же ударили шум, мелькание людей, какофония музыки из привокзальных киосков, голова закружилась, глазам стало больно наблюдать постоянно сменяющуюся картинку... У них в самые людные часы, в самые большие праздники такого никогда не бывало.

Потом гуляли в каком-то парке, катались на каруселях, ели вкусное и сладкое, но ничто не радовало. Ни Аркадия, ни Юрку, ни саму маму. Вечером еле живые от усталости попадали на полки в поезде, а ночью проводница еле добудилась их: «Ваша станция!»

Второй раз приехали всем классом. С ночёвкой. Было им лет по четырнадцать. В плане значились музеи, театр, обзорная экскурсия. Ребята ходили как каторжники, еле передвигая ногами, угрюмо и затравленно озирались, на спектакле многие спали...

Но Аркадию в тот раз город понравился. Вернее, не так ошеломил и придавил. Он увидел, что областной полуторамиллионник и их стодвадцатитысячник похожи. Дома такие же, и проспекты, и памятники, и выражение лиц прохожих: какая-то на них мрачная сосредоточенность. Не враждебность, не злоба, а именно сосредоточенность. Но мрачная. Будто каждый точит, скребёт слабым инструментарием мозга твёрдую, как гранитный камень, проблему.

И ещё Аркадию открылось тогда, что и его родной город, и этот — не просто скопление домов, автомобилей, человечков на освобождённом от чащобы пространстве, а нечто живое, мыслящее, страдающее и иногда радующееся. С душой. Но души у обоих городов строгие, недобрые. Они не распаиваются каждому, не согревают, хотя притягивают, как магнит металлическую пыль на уроках физики, этих самых человечков. И чем больше город, тем сильнее он притягивает...

Пылинки-человечки один за другим прилипают к магниту-душе, но внутрь попасть суждено единицам. Это нужно заслужить, что-то такое сделать. Большинство же облепляет её — душу — снаружи и висит гроздьями, давясь и задыхаясь.

Конечно, открылось это Аркадию не словами — слова, да и то не совсем подходящие, не совсем те, нашлись много позже, когда стало необходимо объяснить другим, что он делает, что стремится создать.

Поступил в недавно открывшийся Социогуманитарный университет, о котором узнал ещё дома. Его хвалили: прогрессивный вуз, новые программы, выпускников расхватывают работодатели... Выбрал отделение психологии и сдал экзамены с блеском. Преподаватели так и говорили: «Блестяще!» Баллы позволили занять одно из немногих бюджетных мест.

Почему психология? Позже Аркадий часто пытался найти для себя самого точное, внятное объяснение. Мол, нужно было разобраться, из-за чего к нему так относятся, он ли виноват или окружающие, как устроено сознание людей, что побуждает их совершать определённые поступки. Но сам по-настоящему не верил в эти доводы. Скорее, на его выбор повлияла тогдашняя мода на психологию и сопутствующие ей науки и лженауки. Была уверенность, что с дипломом психолога можно легко найти денежную и несложную работу. Сложной работой Аркадий всегда считал физический труд. Удивлялся, почему большинство его выбирает. Выбирает и украшает романтикой.

Однокурсницы поначалу проявили к нему явный и откровенный интерес. Аркадия поразила их раскованность — в родном городе девушки с детства вели себя как тётки, относились к мальчикам-парням словно старые жёны: командовали, помыкали, фыркали, досадовали, ни капли не уважали, но боялись, когда напарывались на ответ.

Аркадий бросился однокурсницам навстречу: в компаниях был открытым и светлым, разговорчивым, остроумным — часто слишком, будто навёр-